

# Александр Рогинский

## Выбор

Она ушла из газеты потому, что не была согласна с ее режимом. Как считала, не творческим. Сплошная гонка, часто ложь. Она много раз выступала, доказывая, что не надо гнаться за текущим днем, а надо осмысливать его.

На нее смотрели с улыбочками. Лучшие ее сотоварищи, которые всегда поддерживали и уважали, начали шептаться за спиной.

Однажды за спиной раздалось — «дурочка». Она прошла мимо, сделав вид, что не слышала, но отметила про себя — они ее бывшие (да уже бывшие, ибо она сразу их отмела, как метлой, от себя) товарищи.

Со временем стали говорить подобное громче. Салаги-выпускники называли ее «полоской»- меньше газетной полосы не писала.

Долго готовила материал, долго выверяла, читала по ночам вслух. Помнила каждую строчку, ибо, как казалось, пережила ее.

После публикации, которых ждала с таким же нетерпением и страхом, как ожидает женщина родов, на неделю-другую уходила в себя, не отвечала на вопросы, не вступала в разговоры. Ей казалось, они могут стереть, затоптать самое

сокровенное, что было сейчас в ее душе и что она так охраняла.

Ждала реакции — писем, звонков, разговоров на улицах. А иначе, зачем писать, если о тебе не говорят? Разве артисту, выходящему на сцену, не полагаются аплодисменты?

Она их получала. Через месяц-другой начинали приходиться письма: от домохозяек, студенточек, военнослужащих, пенсионеров... Закрывала кабинет, читала их с упоением. Но чаще — с озлоблением. Люди писали от нечего делать, им явно было скучно; чтобы развеять скуку, они излагали свое с ней несогласие.

Когда-то она была просто ткачихой на шелковом комбинате. В цехах стоял страшный гул, она моталась от станка к станку, в наставницах у нее была знаменитая на всю страну передовичка, которая сразу обслуживала 104 станка и конфликтовала с мужем из-за того, что тот медленно ходил. Однажды она видела, как наставница гуляла с семьей: муж телепался сзади, а жена впереди неслась во весь опор. Все дело в том, что они были разных профессий.

Но вскоре наставница тяжело заболела, рекорды даром не прошли — что-то случилось с позвоночником. И она — ее ученица — решила заменить вышедшую из строя рекордсменку. Стала обслуживать те же 104 станка.

Но вскоре поняла: ей это не по силам. И главное — ткачиха не ее профессия.

К тому моменту она уже несколько раз напечаталась в комбинатовской многотиражке и республиканской комсомольской газете. Это захватило.

Оказывается, у нее было, что сказать людям. К тому же, печатное слово возвышало, делало человека значительным. После первой публикации в комсомольской газете ее обступили подружки и пожимали руки, а кто-то даже поцеловал, будто она совершила что-то невероятное.

Это была слава — маленькая, робкая, но своя. Она ловила на себе плохо спрятанное любопытство, она стала совсем другой. Ей казалась невыносимо стыдной, несообразной с ее внутренним миром эта беготня между станками. Она ощутила свое высокое призвание.

Засела за учебники. Училась днями и ночами, похудела, пожелтела, стала неряшливо одеваться, кто-то даже сказал, что она начала пить. И это было правдой. Только пила она из источника знаний. Пила захлеб.

Поступила в университет на журналистику. На факультете училась точно так же — днями и ночами просиживала за учебниками, книгами известных журналистов, учась у них писать. И сама

активно писала в газеты.

Сначала ее принимали неохотно, ссылаясь на большие размеры и отсутствие оригинальных мыслей.

И она поставила целью научиться оригинально мыслить. Для этого читала упорно классиков — философов, литераторов, писателей, ученых. Дочиталась до психоневрологического диспансера.

Ее лечил врач — кругленький, розовощекий добряк с пронзительными карими глазами, которые, казалось, видели все. Добряк быстро говорил, поглаживая ее руку. Он говорил, что ей надо отдохнуть, заняться чем-то приятным и легким, поменьше читать — подчеркивал. Неплохо, намекал, сжимая крепко-нежно руку, увлечься хоть ненадолго мужчиной.

При этих словах она резко отдергивала руку и смотрела на него твердыми глазами праведницы, которой и была.

Толстячок с пронзительными карими глазами тушевался перед таким целомудрием и что-то воркотал про то, что ладно, мужчина не обязателен, но хотя бы подруга должна быть. С ней можно поговорить по душам.

Этот врач был, по ее мнению, полным дураком, ничего не понимающим в ее душе, хотя и назывался доктором психологических наук.

В диспансере она пролежала две недели, отказываясь от лекарств и не смыкая глаз по ночам, так что похудела и пожелтела еще больше и врачебный консилиум решил отпустить ее домой.

Подруг у нее действительно не было, толстячок угадал, она вообще не выносила рядом с собой людей. Они обычно начинали навязывать свое мнение, что-то доказывать, пытаясь показать, какие они умные.

Иногда она остро чувствовала свое одиночество, особенно по праздникам, когда тишина исходила из стен, а звуки долетали откуда-то издалека и казались неправдоподобными. Но это было мимолетное чувство. Ошибка толстячка заключалась в том, что у нее была цель.

Она хотела стать писателем. Не журналистом, гоняющимся голодным волком за зайцами-фактами, а человеком, который творит на века.

Ей хотелось, однажды она себе в этом призналась, остаться в истории, чтобы и потом люди знали ее фамилию, чтобы помнили, что она жила, что она была и дышала на этой земле. Для этого надо было совершить подвиг. Надо было заплатить за это, может быть, своей жизнью. И она была готова это сделать.

Главное теперь — не сорваться снова, не попасть в этот гнусный и бесполезный диспансер. Правда, не совсем бесполезный, она многое увидела

там, о многом передумала.

Например, познакомилась с девушкой, которая боялась своего возлюбленного. История была сугубо интимной, о которой она не любила не то, что говорить, но даже и думать.

Но девушка была очень хорошенькая, ее было искренне жаль. Записала эту историю, чуя в ней подлинность жизни. Еще вместе с ней лежала женщина, которая следила за собой. В ней было две женщины: одна совершала поступки, другая критиковала их. Это тоже было интересно — записала в книжку и эту историю.

С тех пор она стала записывать в книжку все самое интересное, что доводилось видеть и переживать. Собирала жизненные и эмоциональные факты. Некоторые использовала в своих писаниях в газете, но самые сокровенные берегла для другого пера — писательского.

Теперь не сомневалась в своем писательском призвании. Во-первых, ее привлекала крупная форма. Во-вторых, она умела подмечать всякие детали. Ну и работоспособности ей было не занимать.

Вернувшись из диспансера, снова читала, читала, читала. И пила много кофе, курила (в диспансере ее научили курить, и это, оказалось, здорово облегчало процесс думания и успокаивало).

На работу приходила не выспавшейся,

утомленной и раздраженной, отчего у многих, особенно молодых, начинали кривиться в двусмысленных улыбках рты.

С каждым днем газета надоедала все больше и больше. Когда-то она радовалась каждому утру, а впереди еще была любимая работа. Там ее ждали шумные летучки, споры до хрипоты, авторы, которые заискивающе улыбались, предлагая свой беспомощный труд.

Ей нравилось говорить с авторами серьезно на жизненные темы, давать им советы, обхаживать их и учить писать.

С удовольствием она давала задания собственным корреспондентам (собкорам), растолковывая особенно моральную суть материала, его значимость.

И в командировки любила ездить. Там она была в центре внимания руководителей, ей давали машину, ее угощали, улаживали, оказывали всяческое внимание.

Особенно приятно было приезжать туда, где уже была и где жили ее герои. Материалы она писала и пробивала крупные, поэтому считала, что те, о ком писала, должны были гордиться, что о них так крупно написала уважаемая всеми газета.

И вдруг все это осточертело, она просто-таки возненавидела свою работу. Трудно было сказать даже, почему это произошло. Но однажды она

пришла на работу, села за стол, достала пачку сигарет и поняла, что все — кончилась ее газетная жизнь.

Если она и дальше будет писать свои крупные статьи, то, конечно же, толк от этого будет, она кому-то поможет, кого-то чему-то научит, но лично для нее это все уже будет повторением прошлого, она сама остановится на месте. А ей хотелось видеть в себе каждый раз новое, свежее и интересное для себя.

\* \* \*

Она подала заявление, не раздумывая. Была уверена, что редактор, так ценивший ее, друзья, певшие хвалу после каждого выступления в газете, долго будут ее отговаривать.

Но все вышло поразительно, до огромного стыда просто — редактор, не поднимая головы и разговаривая по телефону, прижав правым ухом к плечу трубку и достав левой рукой свое золотое перо, лихо подписал заявление и тут же крутанулся в кресле и уставился в огромный календарь с полуобнаженными девицами, который он привез из Америки.

А товарищи устроили прощальный вечер в ее однокомнатной малосемейке. Показалось — очень радовались, что она наконец покинет их.

Наутро она встала с больной головой, схватилась за сигарету, с ужасом обнаружила, что ей нечего делать. На работу теперь ходить не надо; даже не хотелось после вчерашнего безобразия убирать.

Так она сидела с час, глядя из своего окна на мальчишек, норовивших попасть мячом в ржавое с обвисшими кусками сетки баскетбольное кольцо. Потом нехотя стала убирать, по-старушечьи шаркая ногами, все время забывая то одно, то другое.

Несколько раз уносила, а затем приносила тарелку-салатницу — так и не донесла ее до кухни.

В результате снова села за письменный стол и неожиданно разрыдалась.

С ней такое было в первый раз в жизни. Она вообще никогда не плакала и презирала людей, у которых по малейшему поводу увлажнялись глаза. А тут вдруг сама.

Настоящий ливень хлынул из нее, будто долго-долго собирались черные тучи — теперь их влагой орошалась земля.

После двухминутного рыдания успокоилась, почувствовала себя обновленной, освеженной. Теперь она знала, что надо делать.

Быстро убрала посуду, подмела, выкурила подряд пять сигарет, выпила две чашки кофе и решительно двинулась в издательство.

До этого она бывала в издательствах — приносила статьи шефа, а однажды и сама попала в сборник. Но теперь она шла, как всего несколько дней назад шли к ней — как автор. У нее были начатки рукописи, она хотела заключить договор на нее, чтобы работать и работать в спокойной обстановке творчества.

Она шла по улице решительными шагами, но по мере приближения к издательству какое-то сиротское чувство стало замедлять их бодрый ритм. Она начала вдруг чувствовать неуверенность. Эта неуверенность распространилась пожаром. Ноги вдруг ослабли, пришлось сесть на скамейку. Она села, закурила, это вернуло ей некоторые силы, но тут же они снова угасли.

Что я там скажу, какую книгу предложу, да и как себя вести? Они же имеют дело с писателями. Что же — зайти и сказать:

— Вы знаете, это я писала полосы в такой-то газете, разве вы их не читали? Теперь я хочу писать книги.

Если сказать так, то выйдет чрезвычайно глупо.

У самой был случай: пришел в редакцию бывший фронтовик и сообщил, как о выполненном военном задании, что у него есть что рассказать.

Она выразительно посмотрела на его руку, вернее, на то место, где она должна была быть, сказала — пусть попробует. Она не верила, что одной рукой, да к тому же левой, можно написать что-то путное.

Фронтовик понял. Он не подал виду, что обиделся, но больше не приходил. Она хотела его найти, извиниться за бестактность, но адреса своего он не оставил.

Точно так может случиться и с ней. Она войдет в издательство, и на нее будут смотреть участливо-равнодушно. В их глазах она непременно прочитает — ну, сколько вас тут ходит, ну что вы можете после Льва Николаевича и Антона Павловича рассказать нового?

Подумав об этом, она содрогнулась. Только теперь поняла, на какой путь встала. На этом пути не было знакомых примет, людей, хотя бы слушающих тебя. Это была пустыня, в которой ей самой предстояло найти ориентиры, силы, чтобы жить и работать.

Она была одна. Чудовищно одна. Чтобы убедиться в этом, она даже оглянулась. В скверике было малоллюдно — две старушки, сидящих на краешке скамейки и кивающих по очереди головами, выгуливающая пушистого дурачки-жизнерадостного пуделя женщины в дурацком красном пальто.

Никто не обращал на нее внимания, никому

она не была нужна. Она мысленно представила свой кабинет в газете, ее остро потянуло туда. На какое-то мгновение она забыла про заявление, про то, что дала себе клятву с этим, как с дурной привычкой, покончить раз и навсегда.

Она пошевелилась на скамейке, хотела выкурить еще сигарету, но что-то решительное, что всегда появлялось, когда она была на краю, поднялось в ней — она даже не встала, а вскочила и ринулась в направлении издательства.

Большой серый дом, недавно выстроенный на месте оврага, косился на нее мрачно поблескивающими окнами, в которых отражались быстро несущиеся облака. Толстый и низкий железобетонный козырек придавил ее к земле, когда она вошла под него. Тяжелая дубовая дверь с выщербленными краями легко поддалась, и она проскользнула по-воровски в вестибюль.

В небольшой стеклянной загородке старик в толстых белых валенках кипятил на плитке чай. Он поднял розовую с редкими тонкими седыми волосами голову и посмотрел на вошедшую водянистыми мертвыми глазами.

— Вы к кому изволите? — спросил он, цепко осматривая ее.

Она чуть приостановилась, посмотрела на него длинным взглядом, отвернулась и буркнула:

— Мне наверх.

Почему она сказала «наверх», она и сама не знала. Наверное, потому, что наверху всегда сидит начальство, и на разных сердитых вахтеров это действует — человек идет к начальству.

— Пойдите, — торопливо, словно она убегала, всхлипнул вахтер, — а где ваш пропуск, кто вы такая?

Она остановилась, ощутив под лопатками неприятный холодок, будто украла что-то и это украденное было видно. И так стояла несколько секунд, не поворачиваясь к вахтеру. Потом подняла палец вверх и повторила:

— Мне наверх.

Но вахтер, видно, давно служил в должности у входных дверей, да к тому же в издательстве, знал всяких нахалов.

Он вышел едва ли не строевым шагом из своей загородки и занял оборонительную позицию.

Весь облик его говорил, что он умрет здесь, а не пустит чужого наверх.

— Да боже мой? — воскликнула она, — неужели так трудно пропустить, у вас что тут — военные секреты хранятся?

— Пропустить не трудно, — быстро ответил вахтер, — трудно потом найти вора.

— Вора?

Она резко шагнула в сторону.

— Это я вор?

— Знаем вас, ходят тут всякие приличные, а потом пальты пропадают.

— Вам служить вахтером не в издательстве, — вскипела она (это редко с ней бывало), а...

— Оскорблять не надо, спокойно, буравя ее вмиг прояснившимися глазами, — сказал вахтер, — а то милицию покличу. У нас это быстро, вот есть такая кнопочка.

И он двинулся к кнопочке.

— Директор у вас есть? — спросила она.

— А как же — как во всех приличных заведениях.

— Дайте мне директора, я из газеты.

Это «из газеты», сказанное привычно властным, проникнутым к себе уважением голосом, взбодрило ее. Перед этим редко кто устаивал.

— А нам что из газеты, что из бани, — все тем же безучастным голосом ответил вахтер и топнул ногой.

— Что из бани! — невольно вырвалось у нее.

— Вот так, — топнул второй ногой старичок, у которого розовая голова начала наливаться кровью.

— Вы понимаете, — взяла себя в руки она, — мне нужно пройти к директору по делу. Я из республиканской газеты, у нас с ним должен состояться деловой разговор.

Ей казалось, что она говорила очень убедительно, как в былые времена. Но старичка и этот ее тон не пронял. Он стоял стеной, все больше и больше становился красным и поминутно топал.

— Да не топайте вы на меня ногами, — сказала она в сердцах.

— Кто к директору ходит, у того есть разрешение, или в списках он значится, а вас я не знаю и удостоверения у вас нету.

Силы стали покидать ее. Если бы у нее хотя бы было газетное удостоверение. Она все ждала, что сейчас этот паршивый старикашка спросит показать документ из газеты, и что она ему покажет? Одна эта мысль подкашивала ей ноги.

Она молчала, замолчал и вахтер. Долго бы, наверное, они стояли так друг против друга, если бы не открылась дверь и в вестибюле не появился высокий статный мужчина с благородной проседью в густой шевелюре.

Он уже проходил мимо, но обратил внимание на неестественное положение стоящих друг против друга людей.

— Что здесь происходит? — спросил он, продвигаясь по инерции к боковой лестнице.

— Эта дамочка говорит, что, Евгений Павлович, идет к вам, а я ей говорю, что надо иметь пропуск.

Мужчина быстро измерил «дамочку»

профессиональным взглядом и кивнул вахтеру, как кивает хозяин собаке, чтобы та перестала лаять на его друга.

— Идемте, — коротко бросил мужчина и пропустил ее впереди себя.

\* \* \*

Она шла, не чуя под собой ног. Она как бы заново родилась, и еще не умела ни ходить, ни говорить. Она больше всего боялась споткнуться и упасть. Была уверена — если споткнется, обязательно упадет, еще и ноги задерет.

Эта картина вызвала в ней мгновенный страх, который ошпарил кипятком голову и сердце; она почувствовала, как медленно цепенеет ее тело. Но ноги действовали быстрее головы, они вывели ее на второй этаж, а все еще сохранившиеся реакции развернули ее тело, и она заняла позу выжидания.

— Идите, идите, — как показалось ей, даже с некоторой усмешкой сказал директор.

Она шла, как в кандалах, каждый новый шаг давался ей с трудом. Наконец директор остановил ее.

— Вот сюда, — указал он на дверь.

В узеньком вагончике сидела шикарная секретарша, которая душилась французскими духами, как будто мылась ими. Даже привычный к

этой душистой вони директор поворотил нос и сердито сдвинул мохнатые брови.

Кабинет был квадратным, стол занимал в нем центральное место, так что директор и она оказались нос к носу. Директор заложил руки за спину и осматривал ее, как некую достопримечательность.

— Я вас слушаю, — наконец сказал он и уставился прямо ей в глаза.

— Я хочу заключить договор на книгу, — сказала она, собрав всю свою волю.

— Сюда за этим в основном и приходят. Какую книгу?

— Публицистики, сейчас строится газопровод Уренгой-Ужгород. О нем, о его людях... Об этом газопроводе недавно говорил Брежнев...

— Ну да, говорил, я читал, правильные слова, — быстро подхватил директор, — но если бы вы написали об этом газопроводе роман, вот такой.

И он пальцами показал какой толщины... А публицистику... У нас даже редакции такой нет.

— Романов я не пишу.

Она повернулась, как солдат, на 180 градусов.

— Обождите, — взял директор ее за руку. — Надо подумать. Может, действительно, если Брежнев говорил так хорошо... Садитесь.

Но она сесть не могла, столбняк нашел на нее. Редактор нажал кнопку на селекторе, раздался

треск, из которого выделился старческий голос.

— Соломон Пантелеевич, зайдите, пожалуйста.

Пока Соломон Пантелеевич двигался по коридорам, она считала его шаги. Ей было неловко стоять вот так — лицом к лицу — с редактором. И редактор молчал.

Наконец открылась дверь и сначала появилась склоненная старческая голова со сползающими очками на крупном мясистом носу, а затем и весь Соломон Пантелеевич. Это был старый человек в черном, блестящем от долгого ношения, костюме. Он долго расширенными от сильно увеличивающих стекол зрачками смотрел на нее, а потом обратился к директору.

— Что-то экстренное?

— Вот... публицистика, — почему-то смешался директор, — эта дама желает написать документальную повесть про газопровод.

Ее покорило слово «дама».

— Газопровод?

Очки у Соломона Пантелеевича поползли вверх.

— Но мы ведь не газовая контора, какое мы имеем отношение к газопроводу?

— Она хочет написать повесть, — повторил директор.

— Так, я понял — повесть. И что?

— Мы можем ее включить в план, скажем, следующего года по резерву?

— Но повесть такая нам не нужна, если вы помните, мы Санникову отказали в повести про нашего...

— Вот видите, — сказал директор. — Наш главный знаток реальной действительности утверждает, что мы таких повестей не пишем. Но, может, нам пора начинать, а то жизнь как-то проходит, вот газопровод строят, а наши читатели об этом ни «гу-гу».

Ей хотелось побыстрее выбраться отсюда, ей казалось, что над ней издеваются.

Но разговор продолжался. Соломон Пантелеевич снял очки и тщательно протер стекла не очень чистым со следом горячего утюга платком.

— Вообще, мое отношение, — сказал он, снова водрузив очки на рыхлый нос, — к документальным повестям отрицательное. Но если вы настаиваете, мы можем попробовать по резерву.

— Наверное, надо попробовать, — подытожил разговор директор. — Надо быть ближе к жизни.

— Значит, я могу рассчитывать на договор? — обратилась она к Соломону Пантелеевичу.

— Наверное, но только тогда, когда хотя бы один печатный лист будет готовым. Мы посмотрим, как вы пишете, не можем же мы покупать кота в мешке!